

Глава IV. ЭПОХА ВТОРАЯ. МАШИНЫ

- Вступление
- § I. О роли машин в их отношениях со свободой
- § II. Противоречие машин. Происхождение капитала и наемного труда
- § III. Средства защиты от губительного влияния машин

Вступление

«Я с глубоким сожалением увидела ПРОДОЛЖЕНИЕ НУЖДЫ в промышленных районах страны».

Слова королевы Виктории в открытии (заседания) нового парламента.

Если есть что-то, чего достаточно, чтобы заставить задуматься монархов, так это то, что, будучи более или менее бесстрастными наблюдателями человеческих бедствий, они в силу самой конституции общества и природы своей власти абсолютно не способны излечить страдания народов: им даже запрещено этим заниматься. Любой вопрос о работе и заработной плате, заявляют по общему согласию теоретики-экономисты и практики, должен оставаться за пределами полномочий власти. С вершины сферы славы, откуда размещенные там религия, престолы, владения, княжества, державы и все небесное ополчение наблюдают, оставаясь недостижимыми для потрясений, муки обществ; но их власть не распространяется на ветры и волны. Короли ничего не могут сделать для спасения смертных. И, по правде говоря, эти теоретики правы: князь создан для поддержания, а не для революции; защищать реальность, а не продвигать утопию. Он представляет собой один из антагонистических принципов: если, создавая гармонию, он устранял бы себя, это с его стороны было бы в высшей степени противоречивым и абсурдным.

Но, несмотря на теории, прогресс идей непрерывно меняет внешнюю форму институтов, чтобы постоянно делать то, что законодатель не хотел и не планировал; чтобы, например, налоговые вопросы становились вопросами распределения; вопросы общественной пользы, национальные вопросы труда и организации производства; также финансовые вопросы, кредитных операций; вопросы международного права, вопросы таможи и сбыта: остается показать, что князь, который теоретически никогда не должен вмешиваться в дела, которые, однако, находясь за рамками теории, становятся ежедневным и непреходящим объектом деятельности правительства, не является и не может являться не чем иным, как и Божество, от которого он произошел, как гипотезой, фикцией.

И поскольку, наконец, невозможно, чтобы князь и интересы, отстаиваемые его миссией, допускали сокращение и аннигиляцию себя до появления новых принципов и появления новых прав, из этого следует, что прогресс, после того, как он завершился в душах бесчувственного движения, реализуется в обществе рывками, и что сила, несмотря на клевету, объектом которой она является, является не переменным условием — *sine quâ non* (Дословно с латыни: «без чего невозможно». — А.А. А-О.) — реформ. Любое общество, в котором сжата сила мятежа, является обществом, мёртвым для прогресса: у истории нет истины, доказанной лучше.

И то, что я говорю о конституционных монархиях, справедливо и для представительных демократий: везде, где общественный договор связывал власть и околдовывал жизнь, законодатель не мог видеть, что он работает против своей собственной цели, и не

действовать иначе.

Печальные актеры парламентских комедий, монархи и представители (депутаты), вот, наконец, то, что вы есть: талисманы против будущего! Каждый год приносит вам обиды людей; и когда вас просят о лекарстве, ваша мудрость покрывает ваше лицо! Должны ли мы поддерживать привилегии, то есть это освящение прав сильнейших, которое создало вас и которое меняется каждый день? Тотчас, по малейшему кивку головы, взволнованы, бегут к оружию и готовят к бою многочисленную милицию. И когда люди жалуются, что, несмотря на их труд, и именно из-за их труда нищета пожирает их; когда общество умоляет вас о жизни, вы читаете акты милосердия! Вся ваша энергия уходит в неподвижность, вся ваша добродетель исчезает в устремлениях! Как фарисей, вместо того, чтобы накормить своего отца, вы молитесь за него! А! Я говорю вам, у нас есть секрет вашей миссии: вы существуете только для того, чтобы мешать нам жить. *Nolite ergo imperare* (не задерживайтесь), уходите!...

Для нас, которые видят миссию власти с совершенно другой точки зрения; для нас, которые хотят, чтобы особая работа правительства состояла именно в том, чтобы исследовать будущее, стремиться к прогрессу, в обеспечении для всех свободы, равенства, здоровья и благосостояния, давайте смело продолжим нашу критическую работу, и, конечно, когда мы раскроем причину общественного зла, принцип его лихорадок, мотив его волнений, пусть у нас не будет недостатка в силе, чтобы применить лекарство.

§ I. О роли машин в их отношениях со свободой

Внедрение машин в промышленность осуществляется в противовес закону о разделении и как бы для восстановления глубокого равновесия, нарушенного этим законом. Чтобы полностью оценить масштабы этого движения и понять его дух, необходимы некоторые общие соображения.

Современные философы, собрав и классифицировав свои летописи, по характеру своей работы пришли к тому, чтобы заняться также историей: и тогда они не без удивления обнаружили, что *история философии* оказалась в основном тем же самым, что и *философия истории*; более того, что эти две ветви спекуляции, кажущиеся столь разнообразными, история философии и философия истории, были не более, чем мизансценой концепций метафизики, которая сама является целой философией.

Тогда, если разделить вопрос универсальной истории на определенное количество структур, таких, как математика, естествознание, социальная экономика и т. д., обнаружится, что каждый из этих разделов также содержит метафизику. И так будет до последнего подразделения всей истории: так что вся философия лежит в основе всех природных или промышленных проявлений; что она не соглашается с размером или качеством; что для достижения своих самых возвышенных концепций все парадигмы могут быть использованы одинаково хорошо; наконец, что все постулаты разума, встречающиеся в самой скромной промышленности так же, как в наиболее общих науках, чтобы сделать из каждого ремесленника философа, то есть сделать его дух обобщающим и весьма синтетическим, было бы достаточно научить его чему? его профессии.

До сих пор, правда, философия, как и богатство, сохранялась для определенных каст: у нас есть философия истории, философия права, а также несколько других философий; это своего рода присвоение, которое, как и многое другое такого же благородного происхождения, должно исчезнуть. Но чтобы поглотить это огромное уравнение, мы должны начать с философии труда, после чего каждый работник сможет, в свою очередь, воспринять философию своего состояния.

Итак, любой продукт искусства и промышленности, любой политический и религиозный институт, а также любое организованное или неорганизованное создание, являются лишь реализацией, естественным или практическим приложением философии, идентичностью законов природы и разума, бытия и идеи; и когда мы, со своей стороны, устанавливаем постоянное соответствие экономических явлений чистым законам мышления, эквивалентность реального и идеального в человеческих фактах, мы только повторяем в каждом конкретном случае эту вечную демонстрацию.

О чем мы говорим на самом деле?

Чтобы определить стоимость, другими словами, организовать само по себе производство и распределение богатства, общество действует точно так же, как и разум при создании концепций. Во-первых, оно устанавливает первый факт, выдвигает первую гипотезу, разделение труда, настоящую антиномию, антагонистические результаты которой разворачиваются в социальной экономике, так же, как последствия могли бы быть выведены в уме: так же, как промышленное движение, следуя во всем умозаключениям идей, разделяется на двойное течение, одно из полезных эффектов, другое из разрушительных результатов, будучи все равно необходимыми и законными продуктами того же самого закона. Чтобы гармонично создать этот двусторонний принцип и разрешить эту антиномию, общество заставляет появиться следующую (антиномию), за которой вскоре последует третья; и таков будет марш социального гения, я полагаю, до тех пор, пока не будут исчерпаны все его противоречия, но не доказано, что противоречие в человечестве имеет конец, — оно возвращается внезапно на всех свои предыдущие позиции и в одной формуле решает все проблемы.

Следуя в нашем изложении этому методу параллельного развития реальности и идеи, мы находим двойное преимущество: во-первых, в том, чтобы избежать упрека материализма, так часто адресуемого экономистам, для которых факты являются правдой только потому, что они являются фактами и материальными фактами. Для нас, наоборот, факты не имеют значения, потому что мы не знаем, что означает это слово, но знаем о видимых проявлениях невидимых идей. На этом основании факты доказывают только то, что согласуется с идеей, которую они представляют; и именно поэтому мы отвергли как не законные и не окончательные полезную стоимость и стоимость обмена, а позже и само разделение труда, хотя для экономистов все они были абсолютным авторитетом.

С другой стороны, нас нельзя больше обвинять в спиритуализме, идеализме или мистицизме: ибо, принимая в качестве отправной точки только внешнее проявление идеи, идеи, которую мы игнорируем, которая не существует, пока не проявляется, как свет, который был бы ничем, если бы солнце существовало в бесконечной пустоте в одиночестве; отбрасывая всё *à priori* теогоническое и космогоническое, все изыскания на веществе, причине, «я» и «не-я», мы ограничиваемся на поиске законов бытия и следовании системе его явлений так далеко, как может достичь разум.

Без сомнения, в основном всё знание останавливается перед тайной: таковы, например, материя и дух, которые мы признаем в качестве двух неизвестных сущностей, опоры всех явлений. Но это не значит, что по этой причине тайна является отправной точкой знания, а мистицизм — необходимым условием логики: напротив, спонтанность нашего разума постоянно стремится к подавлению мистики; она *à priori* протестует против всякой тайны, потому что тайна полезна только для того, чтобы отрицать ее, и что отрицание мистики — единственное, для чего разуму не нужен опыт.

Короче говоря, человеческие факты являются воплощением человеческих идей: поэтому изучать законы общественной экономики — значит составлять теорию законов разума и создавать философию. Теперь мы можем следить за ходом нашего исследования.

В конце предыдущей главы мы оставили рабочего, борющегося с законом разделения: как этот неутомимый Эдип подойдет к решению этой загадки?

В обществе непрерывное появление машин является противоположностью, обратной формулой разделения труда; это протест промышленного гения против разделенной и убийственной работы. Что такое на самом деле машина? способ объединения различных частей труда, которые были сепарированы разделением. Любая машина может стать сочетанием ряда операций, упрощением усилий, квинтэссенцией труда, сокращением затрат. Во всех этих отношениях машина — противоположность разделения (труда). Таким образом, с помощью машины произойдет восстановление работника (использовавшегося на участке), уменьшение тягот рабочего, себестоимости продукта, движение в отношении стоимостей, прогресс в направлении новых открытий, повышение общего благосостояния. Как открытие формулы предоставляет новую возможность геометру, так же изобретение машины — это сокращение ручного труда, которое умножает силу производителя; и можно полагать, что антиномия разделения труда если и не будет полностью преодолена, то будет сбалансирована и нейтрализована. В курсе г-на Шевалье ему следует прочесть о неисчислимых преимуществах, которые дает обществу вмешательство машин: это поразительная картина, к которой я хотел бы привлечь внимание читателя.

Машины, представленные в политической экономии в качестве противоречия разделению труда, представляют собой синтез, противопоставляемый в человеческом разуме анализу; и, как мы вскоре это увидим, вся политическая экономия уже дана в разделении труда и в машинах, так же, как с анализом и синтезом у нас есть вся логика, у нас есть философия. Человек, который трудится, необходимо и шаг за шагом прибегает к разделению (труда) и к помощи инструментов; точно так же тот, кто рассуждает, необходимо и шаг за шагом — к синтезу и анализу, ничего, абсолютно ничего больше. И труд, и разум никогда не выходят за эти пределы: Прометей, как Нептун, достигает края света за три шага.

Из этих принципов, таких простых, ярких, как аксиомы, вытекают громадные последствия.

Поскольку в ходе мыслительного процесса анализ и синтез, по сути, неразделимы, и из того, что, с другой стороны, теория становится правомерной только при условии следования шаг за шагом опыту, следует, что труд, объединяя анализ и синтез, теорию и опыт в непрерывном действии, труд, внешняя форма логики, стало быть, суммируя реальность и идею, вновь выступает в качестве универсального способа обучения. *Fit fabricando faber* (Производство создает производителя (лат.). — А.А. А-О.): из всех систем образования наиболее абсурдной является та, что отделяет разум от деятельности и делит человека на две невозможные сущности: абстрактного и автоматного. Вот почему мы приветствуем справедливые жалобы г-на Шевалье, г-на Дюнойе и всех тех, кто требует реформы университетского образования; это также дает основу для надежды на результаты, которые мы обещали себе от такой реформы. Если бы образование было прежде всего экспериментальным и практическим, оставляя дискурс только для объяснения, обобщения и координации работы; если бы мы позволили воспринимать глазами и руками тем, кто не может учиться воображением и памятью: скоро мы увидели бы, в формах труда, увеличение возможностей; каждый, зная теорию чего-либо, тем самым знал бы философский язык; иногда можно было бы, пусть только раз в жизни, создавать, модифицировать,

совершенствовать, демонстрировать ум и понимание, создавать свой шедевр, короче, показать себя человеком. Неравенство приобретений памяти ничего не изменит в эквивалентности способностей, и гениальность покажется нам не более, чем то, чем на самом деле является здоровье ума.

Прекрасные умы восемнадцатого века долго спорили о том, что представляет собой *гений*, чем он отличается от *таланта*, что нужно понимать под духом и т. д. Они перенесли в интеллектуальную сферу те же различия, которые в обществе разделяют людей. Для них были короли и господствующие гении, князья-гении, министерские гении; потом еще дух джентльменства и буржуазные умы, городские таланты и деревенские таланты. В самом низу лестницы лежала грубая толпа работников, слабых душ, лишенных славы избранных. Вся риторика все еще полна непристойности, которую монархический интерес, размытость слов и социалистическое лицемерие стремятся распространить для вечного рабства наций и поддержки порядка вещей.

Но если показано, что все операции разума сводятся к двум — анализу и синтезу, которые необходимо неразделимы, хотя и различны; если, по вынужденному следствию, несмотря на бесконечное разнообразие работ и исследований, разум всегда повторяет одну и ту же картину, гениальный человек — не что иное, как человек прекрасного строения, который много работал, много размышлял, много анализировал, сравнивал, классифицировал, обобщал и делал выводы; в то время как ограниченное существо, которое томится в хронической рутине, вместо того, чтобы развивать свои способности, убило свой разум инерцией и автоматизмом. Абсурдно различать как отличающееся по существу то, что в действительности отличается только по возрасту, затем превращать в привилегии и исключать различные степени развития или шансы на спонтанность, которые посредством работы и образования должны истираться день за днем.

Риторы-психологи, которые классифицировали человеческие души на династии, благородные расы, буржуазные семьи и пролетариат, тем не менее отметили, что гений не универсален и что у него есть своя специализация; следовательно Гомер, Платон, Фидий, Архимед, Цезарь и т. д., которые все казались им первыми каждый в своем жанре, были ими объявлены равными и суверенными из отдельных королевств. Какое несоответствие! Как будто специализация гения не предаёт сам закон равенства интеллекта! как если бы, с другой стороны, постоянство успеха в произведении гения не было доказательством того, что он действует в соответствии с принципами, чуждыми ему и являющимися залогом совершенства его работ, если он следует за ними с верностью и уверенностью! Этот апофеоз гения, о котором с открытыми глазами мечтали люди, чьи лепеты всегда оставались бесплодными, заставил бы поверить во врожденную глупость большинства смертных, если бы он не был блестящим доказательством их совершенства.

Таким образом, труд, разграничив возможности и подготовив их равновесие посредством разделения отраслей, завершает, если позволено так сказать, вооружение интеллекта машинами. Согласно историческим свидетельствам, как и в соответствии с анализом, и несмотря на аномалии, вызванные антагонизмом экономических принципов, интеллект у людей различается не силой, резкостью или широтой: но в первую очередь специализацией, или, как говорят в школе, определением по качеству; во вторую очередь — упражнением и

образованием. Следовательно, у индивидуума, как и у коллективного человека, интеллект — это гораздо более, чем способность, которая появляется, формируется и развивается, *quæ fit*, (Которая становится (лат.). — А.А. А-О) как сущность или энтелехия [166], которая существует полностью сформированной независимо от обучения. Разум, или какое бы имя мы ему не дали, гений, талант, промышленность, является в начале пути обнаженной и инертной виртуальностью, которая постепенно растет, становится сильнее, окрашивается, определяется и обретает бесконечные нюансы. По важности своих владений, одним словом, по своему капиталу, интеллект отличается и всегда будет отличаться от одного человека к другому; но как сила, равная для всех по происхождению, социальный прогресс должен, непрерывно совершенствуя свои средства, вновь сделать его равным. Без этого труд останется привилегией для некоторых, а для других — наказанием.

Но баланс возможностей, из которых мы видели прелюдию в разделении труда, не полностью соответствует назначению машин, и взгляды на Провидение простираются далеко за пределы этого. С введением машин в экономику развитие предоставлено СВОБОДЕ.

Машина является символом человеческой свободы, символом нашего господства над природой, атрибутом нашей власти, выражением наших прав, символом нашей личности. Свобода, разум — вот и весь человек: поскольку, если мы отвергнем как мистическое и неразборчивое предположение о сущности человека, рассматриваемой с точки зрения вещества (духа или материи), нам останется только две категории проявления, включая, во-первых, все, что называется ощущениями, волями, страстями, влечениями, инстинктами, чувствами; во-вторых, все явления, классифицируемые под именами внимания, восприятия, памяти, воображения, сравнения, суждения, рассуждения и т.д. Что касается органического устройства, с учетом, что оно далеко не является принципом или основой этих двух категорий способностей, его следует рассматривать как синтетическую и позитивную реализацию, живое и гармоничное выражение. Поскольку то, что человечество сделает из своих противоположностей, должно однажды породить общественную организацию, тот же человек должен быть задуман как результат двух серий виртуальностей.

Таким образом, после позиционирования себя в качестве логики социальная экономика, продолжая свое дело, позиционируется уже как психология. Воспитание интеллекта и свободы, одним словом, благосостояния человека, всех абсолютно синонимичных форм самовыражения, — вот общая цель политической экономии и философии. Определение законов производства и распределения богатства продемонстрирует посредством объективного и конкретного воздействия законы разума и свободы; это будет *à posteriori* творение философии и права: куда ни повернись, мы находимся в центре метафизики.

Попробуем теперь, используя данные, полученные из психологии политической экономии, определить свободу.

Если допустимо воспринимать человеческий разум, в его происхождении, как ясный и осмысленный атом, способный в один прекрасный день представлять вселенную, но в первый момент лишенный любого изображения, можно также рассматривать свободу, в начале сознания, как живую точку, *punctum saliens* (Точка прыжков (лат.). — А.А. А-О.),

смутную, слепую или, скорее, безразличную спонтанность, способную получать все возможные впечатления, диспозиции и влечения. Свобода — это способность действовать и не действовать, которая по своему выбору или определению (я использую здесь слово определение одновременно в пассивном и активном смысле), ввиду своего нейтралитета проявляется как *воля*.

Я хочу сказать, что свобода, как и разум, по своей природе является способностью неопределенной, бесформенной, которая ожидает оценки своей стоимости и характера своего выражения извне; способности, стало быть, вначале отрицательной, но которая понемногу определяется и обретает форму посредством опыта, я имею в виду образования.

Этимология, насколько я ее понимаю, слова свободы, поможет лучше меня понять. Радикальное выражение — это *lib-et*, если угодно (ср. нем. *lieben*, любить); откуда появилось *lib-eri*, дети, те, кто нам дороги, имя, зарезервированное для детей отцом семейства; *lib-ertas*, состояние, характер или склонность детей благородной расы; *lib-ido*, страсть раба, который не признает ни Бога, ни закона, ни страны, синоним *licentia*, плохого поведения. В зависимости от того, полезна ли спонтанность, великодушна или добра, она называется *libertas*; в противоположность этому то, что определяется как вредное, порочное и вероломное, как зло, называют *libido*.

Ученый-экономист г-н Дюнойе дал определение свободы, которое в сравнении с нашим определением в конечном итоге продемонстрирует его точность.

«Я называю свободой ту власть, которую человек обретает, чтобы смелее использовать свою силу, *поскольку он преодолевает препятствия*, которые изначально препятствовали ей. Я говорю, что он тем более *свободен*, чем более *избавлен* от причин, которые мешали ему использовать свободу; чем больше удален от этих причин; чем больше он расширил и очистил сферу своего действия... Таким образом, сказано, что человек обладает свободным духом, что он наслаждается большой свободой духа не только тогда, когда его разум не подвержен какому-либо внешнему воздействию, но также и когда он не омрачен пьянством, не изменен болезнью, не сдерживаем беспомощностью из-за того, что его не используют».

Г-н Дюнойе видел свободу только с ее отрицательной стороны, то есть как будто она была лишь синонимом *освобождения от препятствий*. В этом смысле свобода не будет способностью человека, она ничем не будет. Но вскоре г-н Дюнойе, настаивая на своем неполном определении, уловил существо дела: именно тогда он сказал, что человек, изобретая машину, служит своей свободе, но не так, как мы это воспринимаем, потому что он сам дал определение, но, в духе г-на Дюнойе, поскольку это позволяет ему преодолеть трудность. «Таким образом, артикулированный язык — лучший инструмент, чем язык жестов; поэтому легче выражать свои мысли и отпечатывать их в сознании других с помощью речи, а не жестами. Письменная речь является более мощным инструментом, чем артикулированная; поэтому легче воздействовать на разум себе подобных, когда мы умеем выражать мысли глазами, чем только артикулировать ее. Пресса является инструментом, в две-три сотни раз более мощным, чем перо: поэтому нам в две-три сотни раз легче вступать в отношения с другими людьми, когда мы можем распространять свои идеи с помощью печати, нежели чем опубликовать их только с помощью письма».

Я не буду указывать на все, что этот способ представления свободы содержит неточного и нелогичного. Начиная с Десту де Трейси, последнего представителя философии Кондийяка, философский дух был омрачен в среде экономистов французской школы; боязнь идеологии извратила их язык, и в процессе их прочтения человек осознает, что поклонение факту заставило их упасть вплоть до ощущения теории. Я предпочитаю отметить, что г-н Дюнойе и политическая экономия вместе с ним не ошиблись в отношении сущности свободы, силы, энергии или спонтанности, безразличной к какому-либо действию и, следовательно, также восприимчивой к любым хорошим или плохим, полезным или вредным определениям. У г-на Дюнойе было такое ощущение правоты, что он сам написал: «Вместо того, чтобы рассматривать свободу как догму, я представляю ее как *результат*; вместо того, чтобы сделать ее атрибутом человека, я сделаю ее *атрибутом цивилизации*; вместо того, чтобы придумывать формы правительства, чтобы установить его, я объясню, как могу, как она *происходит из всего нашего прогресса*».

Затем он добавляет, не без оснований:

«Мы заметим, как этот метод отличается от метода этих догматических философов, которые говорят только о правах и обязанностях; о том, что правительства обязаны делать, и что нации имеют право требовать и т. д. Я не говорю наставительно: люди имеют право быть свободными; Я ограничиваюсь вопросом: как это получается?».

Из этой презентации мы можем суммировать в четырех строках ту работу, которую хотел произвести г-н Дюнойе: ОБЗОР препятствий, которые *мешают* свободе, и средств (инструментов, методов, идей, обычаев, религий, правительств и т.д.), которые ей *способствуют*. Без упущений работа господина Дюнойе стала бы философией самой политической экономии.

Подняв проблему свободы, политическая экономия, таким образом, дает нам определение, которое во всех отношениях соответствует определению, данному психологией, и которое предполагает аналогия языка: и вот как мало помалу изучение человека оказывается перенесенным от созерцания его «я» к наблюдению за реальностями.

Теперь, так же, как определения разума в человеке получили название *идей* (обобщенные идеи, предполагаемые *à priori*, или принципы, концепции, категории; вторичные идеи или специально приобретенные и эмпирические); — аналогичным образом определения свободы получили название *волеизъявлений*, чувств, привычек, манер. Затем язык, образный по своей природе, продолжающий производить элементы начальной психологии, начали присваивать идеям, как месту или способности, *интеллекту*; и волеизъявлениям, чувствам и т. д., *сознанию*. Все эти абстракции долгое время воспринимались как реальности философами, из которых никто не понимал, что любое распространение способностей души — продукт фантазии, и что их психология была лишь миражом.

В любом случае, если мы теперь понимаем эти два порядка определений, разума и свободы, как объединенные и основанные организацией в живой, разумной и свободной *личности*, мы сразу поймем, что они должны взаимно влиять и помогать друг другу. Если по ошибке или непреднамеренности разума свобода, слепая по своей природе, приобретает ложную и

роковую привычку, разум не опоздает с тем, чтобы это воспринять; вместо истинных идей, в соответствии с естественными отношениями вещей, он сохранит только предрассудки, тем труднее извлекаемые из разума, чем с возрастом они станут дороже сознанию. В этом состоянии разум и свобода уменьшаются; у первого нарушается его развитие, вторая стеснена в своем расцвете, и человек введен в заблуждение, одновременно злой и несчастный.

Таким образом, когда из-за противоречивого восприятия и неполного опыта устами экономистов было объявлено, что не существует правила стоимости и что законом торговли был спрос и предложение, свобода перешла в пыл амбиций, эгоизма и игры; торговля была не более чем азартной игрой, подчиняющейся определенным полицейским правилам; из источников богатства возникла нищета, социализм, сам по себе раб рутины, знал только, как протестовать против последствий, вместо того, чтобы восстать против причин; и разум, под воздействием зрелища стольких зол, должен был признать, что все пошло не так.

Человек сможет достичь благополучия не только тогда, когда его разум и его свобода действуют в согласии, но и при условии, если они не останавливаются в своем развитии. Тогда, когда прогресс свободы, как и развитие разума, не определены, и с учетом, что эти две силы тесно связаны и объединены, необходимо сделать вывод, что свобода тем более совершенна, чем она больше соотносится с законами разума, которые являются законами вещей; и что если бы это условие действовало бесконечно, сама свобода стала бы бесконечной. Иными словами, полнота свободы заключается в полноте разума: *summa lex, summa libertas* (Дословно с лат.: общее право, полная свобода. — А.А. А-О.).

Эти предварительные данные были необходимы для полной оценки роли машин и для освещения цепочки экономического развития. В связи с этим я хотел бы напомнить читателю, что мы создаем историю не в соответствии с порядком времени, а в соответствии с последовательностью идей. Экономические фазы или категории в своем проявлении иногда современны — настолько сильно бывают перевернуты; и отсюда возникает крайняя трудность, с которой экономисты всегда сталкивались при систематизации своих идей; отсюда и хаос их произведений, даже самых рекомендуемых во всех других отношениях, таких, как Ад. Смит, Рикардо и Ж.-Б. Сэй. Но экономические теории, тем не менее, имеют свою логическую последовательность и место в мышлении: мы способствовали открытию именно этого порядка, который сделает эту конструкцию одновременно и философией, и историей.

§ II. Противоречие машин.

Происхождение капитала и наемного труда

Тем самым, что машины уменьшают тяготы рабочего, они сокращают и уменьшают труд, предложение которого, таким образом, день ото дня увеличивается, а спрос уменьшается. Мало помалу, это правда, понижение цен приводит к увеличению потребления, пропорции восстанавливаются и напоминают о труде: но из того, что промышленные усовершенствования следуют друг за другом без передышки и постоянно стремятся заменить механическую операцию в человеческом труде, следует, что существует постоянная тенденция отсекасть часть услуг, тем самым исключая работников из производства. С экономическим порядком происходит то же самое, что и с духовным: вне церкви нет спасения, вне работы нет средств к существованию. Общество и природа, столь же безжалостные, соглашаются выполнить этот новый приговор.

«Когда новая машина или вообще какой-то ускоренный процесс, — говорит Ж.-Б. Сэй, — заменяет уже занятого работой человека, часть рабочих рук, чья служба успешно заменяется, остается без работы. Новая машина, следовательно, заменяет труд части рабочих, но не уменьшает количества производимого продукта; потому что иначе мы воздержимся от того, чтобы принять это; *она вытесняет доход*. Но последующий эффект заключается в преимуществах машин: потому что, если обилие продукта и низкая себестоимость заставляют снижаться рыночную стоимость, потребитель, то есть каждый, выиграет».

В оптимизме Сэя заключена неверность логике и фактам. Здесь речь идет не только о небольшом числе происшествий, случившихся в течение круга из тридцати веков в результате внедрения одной, двух или трех машин; речь идет о регулярном, постоянном и общем явлении. После того, как доход [167] был *вытеснен*, как говорит Сэй, одной машиной, приходит время другой, потом следующей, и всегда следующей, до тех пор, пока существует работа, которую нужно сделать, и обмен, который нужно осуществить. Вот как явление должно быть представлено и рассмотрено: но тогда согласимся, что оно своеобразно меняет свой облик. Вытеснение дохода, упразднение работы и зарплаты — хроническое, постоянное, неизгладимое бедствие, своего рода холера, которая то появляется под видом Гутенберга, то облачается в фигуру Аркрайта; здесь его называют Жаккардом, далее Джеймсом Уоттом или маркизом Жоффруа. Орудия более или менее долго в одной форме, чудовище принимает другую; и экономисты, считающие, что оно исчезло, восклицают: Ничего не было! Спокойные и довольные, при условии, что они всей

тяжестью своей диалектики поддерживают положительную сторону вопроса, они закрывают глаза на подрывную сторону, за исключением, однако, случаев, когда им говорят о нищете, они возобновляют свои проповеди о неуправляемости и пьянстве рабочих.

«В 1750 году, — это наблюдение г-на Дюнойе; оно предоставляет средство для всех размышлений подобного рода: — в 1750 году население герцогства Ланкастерского составляло 300,000 душ. В 1801 году, благодаря развитию прядильных машин, это население составляло 672,000 душ. В 1831 году оно достигло 1,336,000. Вместо 40,000 рабочих, которые ранее были заняты в хлопчатобумажной промышленности, теперь в ней заняты, с момента изобретения машин, 1,500,000».

Г-н Дюнойе добавляет, что в то время, когда число рабочих, занятых на этой работе, приобрело такое уникальное расширение, цена труда стала в полтора раза выше. Так что прирост населения, лишь следовавшего за движением промышленности, был нормальным и безукоризненным фактом; что я говорю? счастливый факт, поскольку его цитируют во славу механического развития. Но вдруг г-н Дюнойе резко переменяется: когда количество рабочих мест сократилось из-за этого множества прядильных приспособлений, зарплата неминуемо должна была упасть; население, которое было призвано машинами, оказалось брошенным этими машинами, и г-н Дюнойе заявил: причиной нищеты является злоупотребление браком. Английская торговля, существующая на требования ее огромной клиентуры, призывает со всех сторон рабочих и провоцирует их на брак; пока занятость изобилует, брак — вещь превосходная, чью пользу для машин любят приводить в пример; но, поскольку клиент «плавающий», то как только перестает хватать работы и зарплаты, кричат о злоупотреблении браком, обвиняют рабочих в непредсказуемости. Политическая экономия, то есть собственнический деспотизм, не может ошибаться никогда: это должен быть пролетариат.

Типографию приводили в пример неоднократно, всегда с оптимистической точки зрения. Число людей, которые живут сегодня книгоизданием, может быть в тысячу раз больше, чем было число переписчиков и иллюстраторов до Гуттемберга; так что, заключают с довольным видом, типография никого не обидела. Подобные факты можно было бы приводить до бесконечности, не требуя ни одного опровержения, но и не продвигаясь в решении этого вопроса. Опять же, никто не отрицает, что машины способствуют общему благополучию: но я утверждаю в свете этого неопровержимого факта, что экономисты противоречат истине, когда решительно заявляют, что *упрощение процессов не привело к сокращению числа рук, используемых в какой-либо отрасли*. То, что должны говорить экономисты, так это то, что машины, равно как и разделение труда, являются в нынешней системе социальной экономики и источником богатства, и постоянной и роковой причиной нищеты.

«В 1836 году в мастерской в Манчестере работали девять станков, каждый по триста двадцать четыре веретена, которыми управляли четыре прядильщика. В дальнейшем конвейер удвоили, и в каждый станок ввели шестьсот восемьдесят веретен, и двух человек хватало, чтобы управлять ими».

Таков грубый факт ликвидации рабочего машиной. Простой комбинацией трое из четырех рабочих вытеснены; какое значение имеет то, что через пятьдесят лет, когда население

земного шара удвоится, клиентура Англии увеличится в четыре раза, будут построены новые машины, английские фабриканты заберут назад своих рабочих? Намерены ли экономисты сослаться, в пользу машин, на рост населения? Пусть тогда они откажутся от теории Мальтуса и перестанут выступать против чрезмерной плодовитости браков.

«На этом не остановились: вскоре новое механическое усовершенствование позволило одному рабочему делать работу, которая когда-то занимала четверых» — Новое сокращение рабочей силы на три четверти: в целом сокращение человеческого труда на пятнадцать шестнадцатых.

«Один фабрикант из Болтона пишет: удлинение тележек наших станков позволяет нам использовать только двадцать шесть прядильщиков там, где мы использовали тридцать пять в 1837 году» — Другая децимация рабочих: одна жертва из четырех.

Эти факты взяты из *Экономического журнала* 1842; и нет никого, кто не смог бы указать на их аналогии. Я был свидетелем введения печатной механики, и могу сказать, что своими глазами видел, как сильно пострадали печатники. За пятнадцать-двадцать лет, что утвердилось механическое производство, часть рабочих потеряли работу, другие покинули свою страну, некоторые умерли от нищеты: так происходит перестройка рабочих в результате промышленных инноваций. — Двадцать лет назад восемьдесят конных экипажей выполняли навигационную службу от Бокера до Лиона; все они исчезли с появлением двадцати пароходов. Конечно, торговля на этом выиграла; но что стало с этим морским населением? переправилось ли оно с лодок на пароходы? Нет: оно пошла туда, куда уходят все деклассированные отрасли, оно исчезло.

В остальном следующие документы, которые я извлекаю из того же источника, дадут более позитивное представление о влиянии промышленных усовершенствований на судьбу рабочих.

«Средняя заработная плата в неделю в Манчестере составляет 12 фр. 50 сант. (10 шиллингов). Из 450 рабочих нет сорока, которые зарабатывают 25 фр.» — Автор статьи осторожно заметил, что англичанин потребляет в пять раз больше, чем француз: так что рабочий во Франции должен жить с 2 фр. 50 сант. в неделю.

«Эдинбургское обозрение», 1835 год: «Появлению коалиции рабочих (которые протестовали против урезания зарплат) мы обязаны именно устройству (в ткацком производстве. — А.А. А-О.) Шарпа и Роберта из Манчестера; и это изобретение жестоко наказывало опрометчивых соучастников». — *Наказанный* заслуживает наказания. Изобретению Шарпа и Роберта из Манчестера необходимо было выйти из положения; отказ рабочих согласиться на сокращение зарплат был лишь определяющей возможностью. Не кажется ли вам, что мстительность, которую отмечает *«Эдинбургское обозрение»*, указывает на то, что внедрение машин имеет обратный эффект?

Английский фабрикант: «Неподчинение наших рабочих заставило нас задуматься о том, чтобы *обойтись без них*. Мы предприняли все мыслимые усилия, чтобы заменить работу людей более послушными орудиями, и достигли цели. Механика избавила капитал от гнета

труда. Везде, где мы все еще используем человека, это только временно, в ожидании, что будет изобретено средство, чтобы исполнять его работу без него».

Что за система, которая заставляет торговца с восторгом думать о том, что общество скоро сможет обойтись без людей! *Механика избавила капитал от гнета труда!* Это как то, если бы министерство старалось избавить бюджет от гнета налогоплательщиков. Безумство! если вы платите рабочим, они становятся вашими покупателями: что вы будете делать со своими произведенными продуктами, когда, уволенные вами, они больше не будут их потреблять? Кроме того, противодействие машин, задавив рабочих, не замедлит ударить по хозяевам; ибо если производство исключает потребление, то вскоре само по себе вынуждено остановиться.

«В четвертом квартале 1841 года в результате четырех крупных банкротств в одном городе Англии на улицу отправились 1,720 человек» — Эти банкротства были причиной перепроизводства, а значит, недостатка возможностей, или бедственного положения народа. Как жаль, что механика не может также избавить капитал от потребительского гнета! Какое несчастье, что машины не покупают ткани, которые они производят! Это было бы идеальное общество, если бы торговля, сельское хозяйство и промышленность могли существовать без человека на земле!

В одном приходе Йоркшира рабочие в течение девяти месяцев работали только два дня в неделю». — Машины!

«В Гестоне две фабрики, стоившие 60,000 фнт. ст., продаются за 26,000» — Они производили больше, чем могли продать». — Машины!

«В 1841 году на мануфактурах уменьшается число детей *младше* тринадцати лет, потому что их место занимают дети *старше* тринадцати лет» — Машины. Взрослый рабочий снова становится подмастерьем, ребенком: этот результат ожидался уже на этапе разделения труда, во время которого мы видели, как качество рабочего падало по мере совершенствования промышленности.

В заключение журналист производит следующее размышление: «С 1836 хлопковая промышленность регрессирует;» — то есть она больше не связана с другими отраслями: еще один результат, предусмотренный теорией пропорциональности стоимостей.

Сегодня коалиции и забастовки рабочих, похоже, прекратились по всей Англии, и экономисты с полным основанием радуются этому возвращению к порядку, скажем даже к здравому смыслу. Но поскольку рабочих мест не прибавляется, я задаюсь вопросом, с учетом нищеты добровольных безработных и нищеты, создаваемой машинами, изменится ли ситуация? И если ситуация не изменится, не будет ли будущее печальной копией прошлого?

Экономисты любят полагаться разумом на картины общественного блаженства: именно по этому признаку их прежде всего узнают, по нему же они ценят друг друга в своем кругу. Однако они не испытывают и недостатка в скорбных и болезненных представлениях, будучи всегда готовыми противопоставить рассказам о растущем процветании доказательства

упорной нищеты.

Г-н Теодор Фикс так резюмировал общее положение, декабрь 1844:

«Источники продовольственного снабжения народов больше не подвержены этим ужасным потрясениям, вызванным неурожаем и голодом, столь частыми вплоть до начала девятнадцатого века. Разнообразие сельскохозяйственных культур и совершенствование сельского хозяйства почти абсолютным образом предотвратили это двойное бедствие. В 1791 г. общее производство пшеницы во Франции оценивалось примерно в 47 миллионов гектолитров, что давало за вычетом семян на каждого жителя один гектолитр и 65 сантилитров. В 1840 г. то же производство оценивается в 70 миллионов гектолитров, а на человека — в один гектолитр 82 сантилитра, причем возделываемые площади остались примерно такими, какими они были до революции... Производство промышленной продукции увеличилось в пропорциях, не менее высоких, чем сельскохозяйственная продукция; и можно сказать, что за последние пятьдесят лет масса текстиля более чем удвоилась, а может быть, и утроилась. Совершенствование технических процессов привело к этому результату... / С начала века человеческая жизнь увеличилась в среднем на два-три года; неопровержимый указатель на большую легкость, или, если угодно, на смягчение нищеты. / За двадцать лет показатель косвенного дохода, без каких-либо дорогостоящих изменений в законодательстве, поднялся с 540 миллионов до 720: признак экономического прогресса гораздо больше, чем налогового прогресса. / По состоянию на 1 января 1844 г. касса вкладов и консигнаций задолжала сберегательным кассам 351 с половиной миллиона, и Париж фигурировал в этой сумме со 105 миллионами. Однако этот институт развивался практически лишь последние двенадцать лет; и следует заметить, что 351 с половиной миллиона, которые в настоящее время причитаются сберегательным кассам, не составляют всей массы сэкономленных средств, поскольку в данный момент накопленный капитал получает другое назначение... В 1843 г. из 320,000 рабочих и 80,000 домочадцев, проживавших в столице, 90,000 рабочих депонировали в сберегательную кассу 2,547,000 фр., а 34,000 домочадцев — 1,268,000 фр.».

Все эти факты верны, и следствие, которое из них извлекают в пользу машин, уже не может быть более точным: ведь они отпечатали на общем благополучии мощный импульс. Но факты,

которые мы приведем, не менее достоверны, и следствие, которое выйдет из них против машин, будет не менее справедливым, зная, что они являются непрекращающейся причиной обнищания. Я обращаюсь к цифрам самого господина Фикса.

Из 320,000 рабочих и 80,000 домочадцев, проживающих в Париже, есть 230,000 первых и 46,000 вторых, всего 276,000, которые не вкладывают в сберегательные кассы. Никто не осмелился бы утверждать, что это 276,000 расточителей и бездельников, которые добровольно подвергают себя нищете. Так как среди тех, кто экономит, есть бедные и слабые субъекты, для которых сберегательная касса является лишь передышкой между распущенностью и нищетой, давайте заключим, что из всех людей, живущих от своего труда, почти три четверти или являются недалёковидными, ленивыми и распущенными, поскольку они не вкладывают деньги в сберегательную кассу, или что они слишком бедны,

чтобы экономить. Другой альтернативы нет. Но в отсутствие благотворительности здравый смысл не позволяет массово обвинять рабочий класс: таким образом, мы должны возложить вину на наш экономический режим. Как же г-н Фикс не заметил, что его цифры обвиняют сами себя?

Есть надежда, что со временем все, или почти все рабочие отдадут на сохранение средства в сберегательные кассы. Не дожидаясь свидетельства будущего, мы можем проверить в полевых условиях, обоснована ли эта надежда.

По свидетельству г-на Ве, мэра 5-го округа Парижа, «число неимущих домохозяйств, зарегистрированных контролерами благотворительных бюро, составляет 30,000, что дает 65,000 человек». Перепись, сделанная в начале 1846 г., дала 88,474. — А неимущих, но не зарегистрированных домочадцев сколько? Много. Допустим, 180,000 несомненно бедных, хотя и неофициально. И все, кто живут в стесненных условиях, вместе с теми, кто за границами достатка, сколько еще? Дважды столько же: всего 360,000 человек в Париже находятся в бедственном положении.

«Говорят о пшенице, — восклицает другой экономист, г-н Луи Леклерк, — но разве не обходится без хлеба огромная часть населения? В пределах нашей родины разве нет людей, которые живут исключительно кукурузой, гречкой, каштанами?...»

Г-н Леклерк осуждает факт: давайте истолкуем его. Если, в чем нет сомнений, прирост населения ощущается главным образом в крупных городах, то есть там, где потребляют больше всего пшеницы, очевидно, что средний показатель на душу населения мог увеличиться без улучшения общего состояния. Ничто так не обманчиво, как среднее.

«Говорят, — продолжает он же, — об увеличении косвенного потребления. Напрасно пытались оправдать парижскую фальсификацию: она существует; у нее есть свои хозяева, свои хитрецы, своя литература, свои дидактические и классические трактаты... Франция владела изысканными винами, что с ними стало? что стало с этим блестящим богатством? Где сокровища, созданные со времен Пробуса национальным гением? И тем не менее, в то время, как мы наблюдаем излишества, к которым употребление вина приводит везде, где оно дорого, везде, где оно не входит в обычную диету; то в Париже, столице королевства хороших вин, мы видим, что люди глотают что-то фальсифицированное, поддельное, тошнотворное, иногда отвратительное, а зажиточные люди пьют у себя дома или принимают без звука, черпаками в известных ресторанах вина, называемые таковыми, безвкусные, которые заставят содрогнуться беднейшего крестьянина из Бургундии или Турени, можно ли добросовестно сомневаться в том, что алкогольные жидкости — одна из самых насущных потребностей нашей природы!...»

Я привожу этот отрывок целиком, потому что он обобщает по конкретному поводу все, что можно было бы сказать о недостатках машин. Это, по отношению к народу, вино, как и ткани, и вообще все продукты и товары, созданные для потребления бедными классами. Это всегда одно и то же решение: любым способом уменьшить производственные затраты, чтобы: 1) с выгодой поддерживать конкуренцию с более удачливыми или более состоятельными коллегами; 2) обслуживать эту бесчисленную клиентулу грабителей,

которые не в состоянии установить цену на что бы то ни было хорошего качества. Вино, производимое обычным способом, слишком дорого обходится массе потребителей; оно рискует остаться в подвалах производителей. Фабрикант преодолевает трудность: не будучи в состоянии механизировать культуру, он находит способ, с помощью нескольких коллег, выставить драгоценную жидкость по цене, доступной для всех. Некоторые дикари в период неурожая едят землю; труженик цивилизации пьет воду. Мальтус был великим гением.

Что касается увеличения среднего возраста жизни, я признаю истинность факта; но в то же время объявляю наблюдение ошибочным. Объясним это. Представим себе население в десять миллионов душ: если бы по той причине, как хотелось бы, средняя продолжительность жизни одного миллиона человек увеличилась на пять лет, а смертность осталась бы такой же, как была, для остальных девяти миллионов, то, распределив этот прирост на всех, можно было бы обнаружить, что средняя продолжительность жизни увеличилась для каждого на шесть месяцев. Речь идет о средней жизни, так называемом индексе среднего благосостояния, как и о средней образованности: уровень знаний неуклонно растет, что не мешает тому, что сегодня во Франции столько же варваров, сколько их было во времена Франциска I. Шарлатаны, которые предлагали эксплуатировать железные дороги, громко шумели о важности локомотива для циркуляции идей; и экономисты, всегда находившиеся в поиске цивилизованных глупостей, не преминули повторить эту нелепость. — Как будто идеям, чтобы распространяться, нужны паровозы! Но кто же тогда мешает идеям течь из Института на окраины Сент-Антуана и Сен-Марсо, по узким и убогим улочкам Сите и Марэ, повсюду, наконец, где обитает это множество, еще более лишенное идей, чем хлеба? Откуда взялось убеждение, что между парижанином и парижанином, невзирая на омнибусы и местную почту, расстояние сегодня втрое больше, чем в четырнадцатом веке?

Подрывное влияние машин на социальную экономику и положение трудящихся осуществляется тысячами способов, которые все взаимосвязаны и одинаково называются: увольнение, сокращение зарплат, перепроизводство, затоваривание, порча продукции, банкротства, выдавливание рабочих из их класса, вырождение вида и, наконец, болезни и смерть.

Г-н Теодор Фикс сам заметил, что за последние пятьдесят лет средний рост мужчины во Франции уменьшился на несколько миллиметров. Это наблюдение стоит того, что происходит сейчас: откуда происходит это снижение?

В докладе, прочитанном в Академии гуманитарных наук о результатах закона от 22 марта 1841 г., г-н Леон Фоше выражался так: «Молодые рабочие бледны, слабы, невысокого роста и медлительны как в мыслях, так и в движениях. В четырнадцать-пятнадцать лет они выглядят не более развитыми, чем дети от девяти до десяти лет в нормальном состоянии. Что же касается их интеллектуального и нравственного развития, то видно, что в возрасте тринадцати лет они не имеют понятия о Боге, никогда не слышали о своих обязанностях, и для них первая школа морали была тюрьмой».

Вот что увидел г-н Леон Фоше, к великому неудовольствию г-на Шарля Дюпена, и к тому,

что он заявляет, что закон от 22 марта невозможно исправить. И не будем гневаться на это бессилие законодателя: зло исходит от причины, столь необходимой для нас, как солнце; и в той мере, в которую мы ввязались, весь гнев, как и все полумеры, только ухудшили бы наше положение. Да, пока наука и промышленность добиваются столь замечательного прогресса, необходимо, с учетом, что центр тяжести цивилизации не меняется вдруг, что умственные способности и комфорт пролетариата слабеют; пока жизнь удлиняется и улучшается для богатых классов, для неимущих она ухудшается и сокращается. Это следует из наиболее обдуманых, я имею в виду наиболее оптимистичных сочинений.

По свидетельству г-на Де Морога, 7,500,000 человек во Франции могут потратить не более 91 фр. в год, 25 с. в день. *Пять су! пять су!* Есть что-то пророческое в этом отвратительном припеве.

В Англии (исключая Шотландию и Ирландию) налог с бедных составлял:

1801 — 4,078,891 ф. ст. для населения 8,872,980

1818 — 7,870,801 — — 11,978,875

1833 — 8,000,000 — — 14,000,000

Таким образом, нищета прогрессировала быстрее, чем рост населения; что же стало с учетом этого факта с гипотезами Мальтуса? — И вместе с тем несомненно, что в то же время повысился средний уровень благосостояния: что же тогда означает статистика?

Коэффициент смертности в первом округе Парижа составляет один из пятидесяти двух жителей, а для двенадцатого — один из двадцати шести. Так вот, в этом последнем (двенадцатом округе) на семь жителей приходится один неимущий, а в первом один — на двадцать восемь. Это не мешает тому, что средний уровень жизни, даже в Париже, только возрос, как это очень хорошо заметил г-н Фикс.

В Мюлузе средняя продолжительность жизни составляет двадцать девять лет для детей состоятельного класса и ДВА ГОДА для рабочих; — в 1812 г. средняя продолжительность жизни в том же населенном пункте составляла двадцать пять лет девять месяцев двенадцать дней; тогда как в 1827 г. она составляла всего двадцать один год девять месяцев. И тем не менее для всей Франции средняя продолжительность жизни растет. Что это означает?

Г-н Бланки, не в состоянии объяснить себе одновременно такое процветание и такую нищету, восклицает: «Увеличение производства — это не увеличение богатства... Нищета, напротив, все больше распространяется по мере сосредоточения промышленности. Необходимо, чтобы в системе, не гарантирующей безопасности ни капитала, ни труда, был какой-то радикальный порок, который, по-видимому, умножает трудности производителей, одновременно заставляя их умножать свою продукцию».

Здесь нет радикального порока. Что удивляет г-на Бланки, — так это просто то, что

требовала определения Академия, частью которой он является, — это колебания экономического маятника СТОИМОСТИ, поочередно и равномерно поражающего добро и зло, пока не пробил час всеобщего уравнивания. Если мне позволено еще одно сравнение, человечество в своем развитии подобно колонне солдат, которые, уходя одним и тем же шагом и в одно и то же мгновение под размеренные удары барабана, постепенно теряют свои интервалы. Все движется вперед; но расстояние от головы до хвоста безостановочно удлиняется; и это обязательный эффект движения — чтобы были отставшие и заблудшие.

Но надо еще глубже проникнуть в антиномию. Машины обещали нам прибавку богатства; они сдержали слово, но тем самым наделили нас еще большей нищетой. — Они обещали нам свободу; я докажу, что они принесли нам рабство.

Я сказал, что определение стоимости, а вместе с ней и злоключений общества, начинается с разделения отраслей, без которого не может существовать ни обмен, ни богатство, ни прогресс. Период, который мы сейчас проходим, период машин — отличается особым характером; это НАЕМНЫЙ ТРУД.

Наемный труд возник напрямую от использования машин, чтобы придать моей мысли всю требуемую ею общность выражения, в отличие от экономической фантастики, посредством которой капитал становится производственным агентом. Наемный труд, наконец, после разделения труда и обмена является обязательным коррелятом теории сокращения расходов, каким бы образом это сокращение ни получалось. Эта генеалогия слишком интересна, чтобы мы не сказали о ней несколько слов.

Первая, самая простая, самая мощная из машин — *цех*.

Разделение лишь сепарирует различные части труда, позволяя каждому заниматься специальностью, которая его больше всего привлекает: цех группирует рабочих по соотношению каждой части к целому. Это, в своей самой основной форме, взвешивание стоимостей, неуловимое, однако, по мнению экономистов. Однако с помощью цеха будет расти производство, а заодно и дефицит.

Один человек заметил, что, разделив производство и его различные части и заставив каждую из них работать отдельно, он получит умножение силы, производство продукта которой будет намного больше суммы труда, которую даст такое же число рабочих в условиях неразделенного труда.

Ухватившись за нить этой идеи, он говорит себе, что, сформировав постоянную группу рабочих, подходящих для специального объекта, который он предлагает, он получит более устойчивое, более обильное производство с меньшими затратами. Между прочим, не обязательно, чтобы рабочие собирались в одном помещении: существование цеха по существу не связано с этим контактом. Он вытекает из соотношения и пропорции различных работ, и из общей мысли, руководящей ими. Одним словом, нахождение в одном месте может обеспечить свои преимущества, которыми не следует пренебрегать: но это не то, из чего состоит цех.

Итак, вот предложение, которое делает спекулянт тем, кого он хочет заставить сотрудничать с ним: Я гарантирую вам пожизненное размещение вашей продукции, если вы хотите принять меня как покупателя или посредника. Рынок настолько явно выгоден, что предложение не может не быть одобрено. Рабочий находит непрерывность работы, фиксированную цену и безопасность; со своей стороны предпринимателю будет легче продавать, так как, производя с меньшей себестоимостью, он может руководить ценой; наконец, его прибыль будет более значительной из-за массы вложений. Не будет никого от граждан до должностных лиц, кто не похвалит предпринимателя за то, что он своими комбинациями увеличил общественное богатство, и кто не проголосует за его поощрение.

Но, во-первых, кто говорит о снижении расходов, тот говорит и о сокращении требующихся услуг — правда, не в новом цехе, а для рабочих той же профессии, оставшихся в стороне, как и для многих других, чьи услуги в будущем будут менее востребованы. Итак, всякое цеховое образование соответствует вытеснению рабочих: это утверждение, каким бы противоречивым оно ни казалось, так же верно — для цеха, как и для машины.

Экономисты соглашались с этим: но здесь они повторяют свое вечное высказывание о том, что по прошествии некоторого времени спрос на продукт возрастает из-за снижения цены, труд, в свою очередь, станет более востребованным, чем раньше. Без сомнения, СО ВРЕМЕНЕМ равновесие восстановится; но еще раз равновесие не восстановится в том же месте, поскольку оно будет разрушено в другом, ибо дух изобретения, равно как и труд, никогда не останавливается. Так какая теория сможет оправдать эти вечные гекатомбы? «Когда мы, — писал Сисмонди, — уменьшим число работающих до четверти или пятой того, что есть сейчас, нам понадобится только четверть или пятая из священников, врачей и т. д. Когда мы их полностью отнимем, мы вполне сможем обойтись без рода человеческого». И это то, что произошло бы на самом деле, если бы для того, чтобы привести работу каждой машины в соответствие с нуждами потребления, то есть для того, чтобы вернуть постоянно разрушаемую пропорцию стоимостей, не нужно было постоянно создавать новые машины, открывать другие рынки сбыта, тем самым умножать услуги и перемещать рабочие руки. Чтобы, с одной стороны, промышленность и богатство, с другой — население и нищета, выстраивались, так сказать, в очередь, и всегда одно тянуло за собой другое.

Я видел, как предприниматель в начале производства имел дело на равных со своими компаньонами, впоследствии ставшими *его рабочими*. Очевидно, на самом деле, что это примитивное равенство должно было быстро исчезнуть, благодаря выгодному положению хозяина и зависимости наемных работников. Напрасно закон гарантирует каждому право предпринимательства, а также возможность работать самостоятельно и напрямую продавать свою продукцию. Согласно предположению, последний ресурс нецелесообразен, поскольку цель создания цеха состояла в том, чтобы уничтожить изолированный труд. А что касается права поднимать плуг, как говорится, и вести хозяйство, то это в промышленности так же, как в сельском хозяйстве: умение работать ничего не означает, надо успеть вовремя; лавка, как и земля, находится на первом месте. Когда у предприятия есть свободное время, чтобы развиваться, расширять свои базы, пополнять капитал, расширять клиентуру, то что сможет против такой превосходящей силы рабочий, у которого есть только его руки? Таким образом, это не по произволу суверенной монархии и не в результате жестокой и случайной узурпации создавались корпорации и владения: порядок

вещей создавал их задолго до того, как их закрепляли королевские эдикты; и не ввиду преобразований 89-го года [168] мы видим, что они восстанавливаются на наших глазах со стократно более грозной энергией. Откажите труду в его собственных тенденциях, и порабощение трех четвертей рода человеческого обеспечено.

Но это не все. Машина или цех, после того, как заставит деградировать рабочего, давая ему хозяина, завершает унижение, низводя его из ранга ремесленника в ранг винтика.

Когда-то население берегов Сены и Роны состояло в основном из моряков, занятых управлением судами на лошадиной тяге, либо на веслах. Теперь, когда пароходная тяга утвердилась почти повсеместно, моряки, по большей части не находя себе места, или проводят три четверти жизни в безработице, или же становятся водителями (повозок). Вместо нищеты — деградация: таково зло, которое машины наносят рабочему. Ведь машина — как артиллерийское орудие: все, кого оно занимает, за исключением командира, — *слуги*, рабы.

С момента создания крупных мануфактур множество мелких производств исчезло из домашнего очага: считается, что рабочие за 50 и 75 сантимов обладают таким же умом, как и их прародители?

«После сооружения железной дороги из Парижа в Сен-Жермен, — рассказывает г-н Дюнойе, — между Пеком и множеством более или менее соседних населенных пунктов завелось такое количество *омнибусов* и экипажей, что это сооружение, вопреки всякому прогнозу, увеличило занятость лошадей в немалой пропорции».

Вопреки всякому прогнозу! Нужно быть всего лишь экономистом, чтобы не предвидеть подобных вещей. Умножая машины, вы увеличиваете нудный и отвратительный труд: эта апофтегма так же точна, как любая другая из допотопных. Пусть меня обвинят, если угодно, в недоброжелательности по отношению к прекраснейшему изобретению нашего века, ничто не мешает мне сказать, что главным результатом железных дорог, после порабощения мелкой промышленности, будет создание популяции из деградировавших рабочих, дорожников, дворников, грузчиков, грузчиков, дальнобойщиков, сторожей, швейцаров, весовщиков, смазчиков, уборщиков, водителей, пожарных и так далее, и тому подобное. Четыре тысячи километров железных дорог обеспечат Франции прибавление в пятьдесят тысяч крепостных: не для них, без сомнения, г-н Шевалье требует создания профессиональных училищ.

Скажут, может быть, что масса транспортных средств пропорционально возросла гораздо больше, чем число поденных рабочих, разница в пользу железной дороги, и, в общем, есть прогресс. Можно даже обобщить наблюдение и применить одно и то же рассуждение ко всем отраслям.

Но именно эта общность явления выявляет порабощение рабочих. Первая роль в промышленности принадлежит машинам, вторая — человеку: весь гений, проявляющийся в труде, ведет к отупению пролетариата. Насколько славная у нас страна, когда из сорока миллионов ее жителей тридцать пять состоят из писак и лакеев!

Вместе с машиной и цехом божественное право, то есть принцип власти, входит в политическую экономию. Капитал, Владение, Привилегия, Монополия, Кредит, Собственность и т. п. — таковы, на экономическом языке, различные названия того, что я не знаю, но что еще мы назвали Властью, Авторитетом, Суверенитетом, Писанным законом, Откровением, Религией, Богом, наконец, причиной и принципом всех наших несчастий и преступлений, и что чем больше мы пытаемся определить его, тем больше оно ускользает от нас.

Неужели невозможно, чтобы в нынешнем состоянии общества цех с его иерархической организацией и машины вместо того, чтобы служить исключительно интересам наименее многочисленного, менее работающего и наиболее богатого класса, служили бы благом для всех?

Это мы и рассмотрим.

§ III. Средства защиты от губительного влияния машин

Сокращение рабочей силы — это синоним снижения цен, следовательно, увеличения торговли; поскольку, если потребитель платит меньше, он будет покупать больше.

Но сокращение рабочей силы также является синонимом ограничения рынка; так как если производитель зарабатывает меньше, он будет покупать меньше. И так действительно все происходит. Концентрация сил в цеху и интервенция капитала в производство под именем машин порождают и перепроизводство, и разорение; и все видели, как эти два бедствия, более страшные, чем пожар и чума, возрастают в наши дни в самых широких масштабах и с всепоглощающей интенсивностью. Однако отступить нельзя: надо производить, производить всегда, производить дешево; без этого существование общества скомпрометировано. Рабочий, чтобы избежать отупения, которым ему грозил принцип разделения, создал так много замечательных машин, оказывается посредством своих собственных произведений или бесправным, или поработанным. Какие средства предлагаются против такой альтернативы?

Г-н де Сисмонди, как и все носители патриархальных идей, хотел бы, чтобы разделение труда вместе с машинами и фабриками было прекращено, и чтобы каждая семья вернулась к системе первобытного обобществления, то есть *каждый у себя, каждый для себя*, в самом буквальном смысле этого слова. — Это регресс, это невозможно.

Г-н Бланки возвращается, с напряжением, со своим планом участия рабочего и использования командитных товариществ к пользе коллективного работника, всех отраслей промышленности. — Я показал, что этот проект скомпрометировал общественное благосостояние, без значительного улучшения судьбы рабочих; и сам г-н Бланки, по-видимому, присоединился к этому настроению. Как примирить, в самом деле, это участие рабочего в прибыли с правами изобретателей, предпринимателей и капиталистов, в котором одни отягощены авансированием, а также долгими и терпеливыми усилиями; другие постоянно лишь оперируют нажитым состоянием и рискуют предприятиями; а третьи не могли бы вынести снижения процентной ставки, не потеряв при этом своих сбережений? Как можно, одним словом, добиться того равенства, которое хотелось бы установить между рабочими и хозяевами, с той предубежденностью, которую нельзя отнять у глав предприятий, заказчиков и изобретателей и которая так явно подразумевает для них исключительное присвоение прибыли? Постановить законом допуск всех рабочих к

распределению прибыли означало бы анонсировать роспуск общества: все экономисты так хорошо это почувствовали, что в конце концов окончили нравоучением для хозяев, которое изначально было для них проектом. Так вот, до тех пор, пока работник не будет получать прибыль, которую для него соизволит выделять предприниматель, он сможет рассчитывать только на вечную нужду: это не во власти собственников, как бы то ни было.

В остальном идея, притом весьма похвальная, ассоциирования рабочих с предпринимателями стремится к этому коммунистическому выводу, явно ошибочному в своих предпосылках: последнее слово машин — сделать человека богатым и счастливым без необходимости работать. Тогда как природные средства должны все делать для нас, машины должны принадлежать государству, а целью прогресса должно быть сообщество.

Изучим, в свою очередь, коммунистическую теорию.

Но я считаю своим долгом прямо сейчас предупредить сторонников этой утопии, что надежда, которую они возлагают на машины, — всего лишь иллюзия экономистов, что-то вроде вечного двигателя, который мы всегда ищем и не находим, потому что требуем его от того, кто не может его дать. Машин не работают сами по себе: чтобы поддерживать их работу, нужно организовать их огромное обслуживание; настолько, что в конце концов человек создает для себя еще одно дело, поскольку он окружает себя большим количеством инструментов, а большое дело вокруг машин обеспечивает куда меньшую возможность разделить их продукцию, чем необходимость обеспечивать их работу, то есть безостановочно поддерживать двигатель. Но этот двигатель — не воздух, вода, пар, электричество; это работа, то есть механизм рынка сбыта.

Железная дорога подавляет по всей линии, по которой она проходит, шорников, сельчан, возчиков, трактирщиков: я улавливаю факт в момент сооружения дороги. Предположим, что государство в качестве меры сохранения или принципа компенсации делает производителей, деклассированных железной дорогой, владельцами или эксплуататорами пути: цена перевозки, как я предполагаю, будет снижена на 25 процентов (без этого к чему железная дорога?); доходы всех этих производителей, вместе взятых, окажутся уменьшенными на равную сумму, что заставляет сказать, что четверть людей, живших до этого от перевозок, окажутся, несмотря на государственное обеспечение, буквально без источников существования. Для преодоления дефицита у них остается только надежда: на то, что объем перевозок на линии увеличится на 25 процентов, или на то, что они найдут работу в других промышленных категориях; что прежде всего кажется невозможным, поскольку как предположительно, так и фактически рабочие места заполнены повсюду, что везде сохраняется пропорция, и что предложение удовлетворяет спрос.

Все-таки, если желать увеличения объема перевозок, необходим всплеск роста в других отраслях. Однако, если допустить, что деклассированные рабочие нанимаются на работу по этому перепроизводству, что их распределение по различным категориям труда столь же легко выполнять, как это предписывает теория, то и этого будет недостаточно. Потому что, поскольку персонал пути в производстве в количестве 100 равен 1,000, то, чтобы получить, со стоимостью перевозки на четверть дешевле, иными словами, на четверть мощнее тот же доход, что и раньше, нужно будет и производство увеличить на четверть, то есть добавить к

сельскохозяйственному и промышленному «ополчению» не 25 — цифру, указывающую на пропорциональность отрасли перевозок, а 250. Но чтобы прийти к такому результату, нужно будет создавать машины, создавать, что еще хуже, людей: что бесконечно возвращает вопрос к одной и той же точке. Таким образом, противоречие на противоречии: это уже не просто работа, которая с использованием машины создает проблему человеку; это еще и человек, который своей количественной и потребительской недостаточностью создает проблему машинам: так что, пока не установится равновесие, существует одновременно и недостаток работы, и недостаток рабочих рук, и недостаток продуктов, и недостаток сбыта. И то, что мы говорим о железной дороге, верно для всех отраслей: всегда человек и машина следуют друг за другом, не давая ни первому прийти к покою, ни второму удовлетвориться.

Каким бы ни был прогресс механики, тогда, когда мы изобретаем машины в сто раз более изумительные, чем мул-дженни, ткацкий станок, пресс цилиндра; когда мы обнаруживаем силы в сто раз более мощные, чем пар: далеко от освобождения человечества, создания досуга и производства всего безвозмездного, мы только умножаем труд, провоцируем рост населения, увеличиваем рабство, делаем жизнь все дороже и выкапываем пропасть, которая отделяет класс, который командует и наслаждается, от класса, который подчиняется и страдает.

Давайте теперь предположим, что все эти трудности преодолены; давайте предположим, что рабочих, потерявших работу с появлением железной дороги, будет достаточно для исполнения услуг, которые требуются для поддержания мощности локомотива, компенсация осуществляется без разрывов, никто не пострадает; напротив, благосостояние каждого увеличится на долю прибыли, получаемой от железнодорожных перевозок. Кто тогда, спросят меня, препятствует тому, чтобы вещи происходили с такой регулярностью и определенностью? И что может быть проще для разумного правительства, чем управлять всеми переходными процессами в промышленности таким образом?

Я выдвинул эту гипотезу как можно глубже, чтобы показать, с одной стороны, цель, к которой движется человечество; с другой стороны, трудности, которые оно должно преодолеть, чтобы достичь этого. Конечно, провиденциальный порядок состоит в том, что прогресс, насколько это касается машин, достигается так, как я только что сказал: но то, что связывает прогресс общества и заставляет его переходить от Харибды к Сцилле, заключается именно в том, что оно не организовано. Мы достигли только второй фазы его эволюции и уже встретили на своем пути две пропасти, которые кажутся непреодолимыми, — разделение труда и машины. Как сделать так, чтобы рабочий в условиях разделенного труда, если он разумный человек, не оглуплялся; а если он уже поглупел, возвратился бы к разумной жизни? Как, во-вторых, сформировать среди рабочих эту солидарность интересов, без которой промышленный прогресс измеряет свои шаги катастрофами, в то время как эти самые рабочие глубоко разделены трудом, заработной платой, разумом и свободой, то есть эгоизмом? Как, наконец, можно примирить то, что достигнутый прогресс сделал непримиримым? Обращение к сообществу и братству означало бы предвосхищать периоды: нет ничего общего, не может быть никакого братства между существами, такими, какими их сделало разделение труда и обслуживание машин. По крайней мере, на этой стороне мы не должны искать решения.

Ну ладно! — будет сказано, — так как зло заключается больше в разумах, чем в системе, давайте вернемся к обучению, давайте работать для просвещения людей.

Для того чтобы обучение принесло пользу, а также чтобы его можно было получить, прежде всего необходимо, чтобы учащийся был свободен — так же, как перед тем, как засеять землю, плуг избавляют от шипов и пырьев. Кроме того, лучшей системой образования, в том числе с точки зрения философии и морали, была бы система профессионального образования: иначе как возможно совместить образование с разделением труда и обслуживанием машин? Как человек, ставший в результате своего труда рабом, то есть предметом мебели, вещь, сможет возвратиться с помощью такого же труда, продолжением того же упражнения, личностью? Как можно не замечать, что эти идеи противоречивы, и что если пролетариат сможет достичь определенной степени развития, он сначала использует его, чтобы революционизировать общество и изменить все гражданские и промышленные отношения? И то, что я говорю, не является пустым преувеличением. Рабочий класс в Париже и в больших городах наполнен этими идеями уже лет двадцать пять; тогда скажите мне, что этот класс не является решительно, энергически революционным! И он будет становиться таким все более и более по мере того, как он обретает идеи справедливости и порядка, особенно когда он осознает механизм собственности.

Язык, — прошу разрешения вернуться еще раз к этимологии, — мне кажется, что язык ясно выразил моральное состояние рабочего после того, как он был, если позволено так сказать, обезличен промышленностью. На латыни идея рабства подразумевает идею подчинения человека вещам; и когда позже феодальный закон объявил крепостного *прикрепленным к земле*, он только перефразировал буквальное значение слова *servus* [169]. Поэтому самопроизвольный разум, оракул неизбежности, приговорил подчиненного работника до того, как наука установила свою непригодность. Что могут после этого благотворительные усилия для существ, которых Провидение отвергло?

Труд — это воспитание нашей свободы. У древних было глубокое чувство этой истины, когда они отличали рабское искусство от свободного. Потому что какая профессия — такие идеи; какие идеи — такие манеры. Все в рабстве приобретает характер унижения — привычки, вкусы, склонности, чувства, удовольствия: в нем есть всеобщее ниспровержение. Позаботьтесь об образовании бедных классов! Но это означает создать в этих вырожденных душах самый отвратительный антагонизм; это означает вдохновить их идеями, которые сделают рабочих несовместимыми с грубостью их состояния, с удовольствиями, которые притупляют их чувства. Если бы такой проект мог быть успешным, то вместо того, чтобы сделать рабочего человеком, можно сделать его демоном. Пусть изучат эти физиономии, которые наполняют тюрьмы и каторги, и скажут мне, если большинство из них не принадлежат к тем субъектам, которые демонстрируют красоту, элегантность, богатство, благополучие, честь и науку, и все, что создает человеческое достоинство, что это слишком слабо в них, деморализовано, убито.

«По крайней мере, мы должны установить зарплаты, скажем, менее смелые, записать во всех отраслях тарифы, принятые хозяевами и рабочими».

Именно господин Фикс выдвигает эту гипотезу спасения. И он победоносно отвечает:

«Эти тарифы были сделаны в Англии и в других местах; мы знаем, чего они стоят: всюду их нарушали, как только принимали, и хозяева, и рабочие».

Причины нарушения тарифов легко понять: это машины, процессы и непрерывные комбинации промышленности. Тариф согласовывается в определенный момент времени: но внезапно появляется новое изобретение, которое дает его автору возможность снизить цену товара. Что будут делать другие предприниматели? они либо прекратят производство и уволят своих работников, либо предложат им сокращение. Это единственное, что они могут предпринять в ожидании, когда они, в свою очередь, обнаружат процесс, с помощью которого, не снижая ставки заработной платы, они смогут производить дешевле, чем их конкуренты, что будет эквивалентно подавлению рабочих.

Г-н Леон Фоше, похоже, склонен к системе компенсации. Он говорит:

«Мы понимаем, что в любом интересе государство, представляющее общее желание, заставляет промышленность принести жертву». — Государство всегда должно ею руководить, пока оно предоставляет каждому свободу производить, а также сохраняет и защищает эту свободу от любых посягательств. — «Но это крайняя мера, опыт, который всегда опасен, и который должен сопровождаться всеми возможными заботами о людях. Государство не имеет права отнимать у класса граждан работу, от которой они живут, до того, как иным образом обеспечит их существование, или до того, как будет уверено, что они найдут в новой отрасли использование их интеллекта и рук. В цивилизованных странах действует принцип, согласно которому правительство не может завладеть, даже в интересах общества, конкретной собственностью, если только владелец не был заинтересован в справедливой и предварительной компенсации. И работа кажется нам собственностью столь же законной, такой же священной, как поле или дом, и мы не принимаем того, что она может быть экспроприирована без какой-либо компенсации...».

«Насколько мы считаем химерическими доктрины, которые представляют правительство как универсального поставщика работы в обществе, настолько же нам кажется справедливым и необходимым, чтобы любое перемещение рабочей силы, производимое во имя общественной пользы, осуществлялось бы только посредством компенсации или перехода, и что ни отдельные лица, ни классы не приносятся в жертву государства. У власти в хорошо организованных странах всегда есть время и деньги для смягчения таких ограниченных бедствий. И именно потому, что развитие промышленности исходит не от власти, потому что она рождается и развивается от свободного и индивидуального побуждения граждан, потому что правительство обязано, когда оно нарушает свой курс, предложить им вид возмещения или компенсации».

Вот золотые слова: г-н Леон Фоше требует, что бы он ни говорил, организации труда. Сделать так, чтобы *любое перемещение рабочей силы происходило только посредством компенсации или перехода, и чтобы людей и классы никогда не приносили в жертву интересам государства*, то есть прогрессу промышленности и свободе предприятий, высшему закону государства, — это, без сомнений, установить, что будущее воплотится в *поставщика работы в обществе* и хранителя заработной платы. И, как мы уже неоднократно говорили, промышленный прогресс и, следовательно, работа по деклассификации и реклассификации в обществе являются непрерывными, это не особый переход, который

следует найти в случае внедрения какой-либо инновации, но на самом деле общий принцип, органический закон перехода, применимый ко всем возможным случаям и производящий эффект сам по себе. Способен ли г-н Леон Фоше сформулировать этот закон и примирить различные антагонизмы, которые мы описали? Нет, так как он предпочитает останавливаться на идее компенсации. *У власти, говорит он, в хорошо организованных странах всегда есть время и деньги, чтобы смягчать такие ограниченные бедствия.* Прошу прощения у щедрых намерений г-на Фоше, но они кажутся мне совершенно неосуществимыми.

У власти есть время и деньги только на то, что она изымает у налогоплательщиков. Компенсация пониженным налогом деклассированных промышленников означала бы остракизм новых изобретений и внедрение коммунизма с помощью штыков, а не решение проблемы. Нет больше смысла обсуждать государственную компенсацию. Компенсация, применяемая в соответствии с мнением г-на Фоше, либо приведет к промышленному деспотизму, к чему-то вроде правительства Мехмета-Али, либо выльется в налог на бедных, то есть в бесполезную пародию. Во благо человечества лучше не компенсировать, а позволить труду самому искать себе организацию.

Есть те, кто говорит: пусть правительство занимается перемещением деклассированных (уволенных) работников до тех пор, пока не будет создано частное производство и отдельные компании не смогут решить это (принять их на работу). У нас есть горы (работы) по восстановлению леса, пять или шесть миллионов гектаров земли для расчистки, каналы, которые нужно выкопать, тысяча вещей, которые, в конечном итоге, пригодятся для немедленного и общего использования.

«Мы просим у читателей прощения, — отвечает г-н Фикс, — но здесь мы обязаны привлекать капитал. Эти районы, за исключением некоторых общих земель, являются необитаемыми, поскольку не эксплуатируются, они не будут производить никакого чистого продукта и, скорее всего, не смогут дать урожай культур. Эти земли принадлежат владельцам, у которых есть или у которых нет капитала для их эксплуатации. В первом случае владелец был бы весьма вероятно доволен, если бы он эксплуатировал эти земли с минимальной прибылью, и он, возможно, отказался бы от того, что называется арендной платой за землю: но он обнаруживает, что если предпримет посев этих культур, то потеряет свой основной капитал, и другие его расчеты показывают ему, что продажа продуктов не покроет затраты на выращивание культуры. Учитывая все обстоятельства, эта земля, следовательно, останется под паром (неиспользуемой), потому что вложенный в нее капитал не принесет никакой прибыли и будет потерян. Если бы это было иначе, все эти земли были бы немедленно обработаны; сбережения, которые сейчас вкладывают в другом направлении, обязательно пойдут в определенной степени на эксплуатацию территорий; потому что у капиталов нет привязанностей, у них есть интересы, и они всегда ищут самое безопасное и прибыльное применение».

Это вполне обоснованное рассуждение означает, что для Франции еще не настало время эксплуатировать ее пустыри, так же как для кафров и для готтентотов не наступило время железных дорог. Потому что, как было сказано в главе II, общество начинается с самых простых, безопасных, самых необходимых и наименее дорогостоящих операций: только постепенно оно подходит к цели — использовать вещи, которые являются относительно

менее продуктивными. Поскольку человеческая раса мучается на своем земном шаре, у нее нет другого дела; она всегда возвращается к одной и той же заботе: обеспечить свое пропитание в походе к открытию. Таким образом, чтобы расчистка территории, о которой говорят, не стала губительной спекуляцией, причиной нищеты, другими словами, чтобы это было возможно, нужно еще больше увеличить наш капитал и наши машины, открыть новые процессы, лучше разделить труд. Однако просить правительство предпринять такую инициативу — все равно, что поступать как крестьяне, которые, увидев приближающуюся бурю, начинают молиться Богу и призывать своего святого. Правительства, будет не лишним повторить, являются представителями Божества, я почти сказал, исполнителями небесной мести: они ничего не могут сделать для нас. Может ли, например, английское правительство, дать работу несчастным, которые укрываются в рабочих домах? А когда оно узнает о них, осмелится ли? *Помоги себе сам, и небеса помогут тебе!* Этот акт народного недоверия к Богу также говорит нам, чего нам следует ожидать от власти... ничего.

Придя ко второму пункту нашего испытания, вместо того, чтобы предаться бесплодному созерцанию, давайте будем все более и более внимательными к учениям о судьбе. Залог нашей свободы находится в процессе нашей пытки.